

мировой войны. Все, что мир пережил за последние десятилетия, есть выплачиваемая человечеством цена войны и цена революции. О цене, которую пришлось выплатить русскому народу, в статье, обращенной к русским читателям, распространяться как будто не приходится.

## Комментарии. 2. Еще о «цене революции»

В предыдущих своих комментариях я писал о книге английского историка Брэгана, посвященной вопросу о «цене революции». Мне хочется вернуться к этому вопросу в связи с некоторыми откликами, вызванными моей статьей, и, прежде всего, в связи с отзывом о 29-й книге «Нового журнала», появившемся в № 4 «Литературного современника» за подписью Юрия Большухина. Рецензент этот пишет между прочим следующее: «...понятие революции все же не равнозначно всенародному бедствию... народ, заплативший страшную цену за большевистский октябрь, возможно, заплатит недешево и за свободу, — но тогда он не останется в убытке!» Замечание вполне естественное и вынуждающее меня уточнить свою точку зрения. Прежде всего, хочу отметить, что Брэган не отрицает возможности таких случаев, когда революция становится неизбежной. Его нападение направлено на ту психологию, при которой революция рассматривается как «нормальное средство и благожелательная панацея», а не как «последняя и отчаянная попытка» найти выход из положения. За этой психологией он правильно видит неспособность понять, «с какой трудностью был достигнут тот уровень порядка, свободы и достойных условий жизни, который мы сейчас защищаем и который так легко потерять». Его рассуждения по этому поводу очень напоминают знаменитые письма Герцена «К старому товарищу» (Бакунину), где Герцен заявлял, что не верит больше в революционные пути и старается «понять шаг людской в былом и настоящем для того, чтобы знать, как идти с ним в ногу». Конкретно это значит — не взывать к революции, пока эволюционные шансы имеются налицо, пока для революции нет последней крайней необходимости.

Можно поэтому, идя в данном случае за Лениным, который делал такое же различие между войнами, говорить о революциях «законных» и «незаконных». То обстоятельство, что, как утверждал недавно М. В. Вишняк\*, все подлинные революции случаются

---

\* См. его статью в кн. 30-й «Нового журнала»<sup>1</sup>.

«стихийно, неожиданно», препятствием к такому различению служить не может. Во-первых, полностью стихийных революций все-таки не бывает (я вижу, что и М. В. Вишняк берет слово «случаются» в кавычки) — так же как не бывает и революций, целиком разыгранных по нотам. Во-вторых, независимо от того, была ли данная революция «стихийной» или «подготовленной», она одинаково может быть оцениваема с точки зрения ее исторической оправданности. Можно, например, — а на мой взгляд даже и должно, — ставить вопрос о том, была ли исторически оправдана французская революция 18-го века или русская революция 1917 года, и в том и в другом случае с двух точек зрения: 1) была ли революция «неизбежна» в смысле единственного возможного выхода из назревшего в стране кризиса или в наличии были достаточные данные для решения основных проблем эволюционным способом, и 2) была ли цена революции оправдана теми положительными результатами, достижение которых она сделала возможным. Там, где режим носит предельно деспотический характер, не оставляя никаких возможностей для эволюционного развития, и где его длительное существование имеет явно губительные для страны последствия, вопрос о «законности революции» ставить не приходится. Сталинская деспотия, конечно, целиком подходит под эту категорию. Но тут возникает другой вопрос: о *фактической возможности* революции в условиях современного тоталитарного режима — без мощного удара по этому режиму извне, т. е., конкретно говоря, его решительного поражения в войне. Вопрос этот очень сложен, можно сказать, трагически сложен, и обсуждать его в пределах этой статьи я не собираюсь. Скажу только, что во многих русских эмигрантских кругах он часто решается с излишней легкостью и прямолинейностью. В основе такого отношения лежит преувеличенная оценка значения самого факта широко разлитого и острого народного недовольства, направленного против режима. Но для того чтобы это недовольство могло стать действенным фактором, все-таки нужно наличие каких-то возможностей для его внешнего проявления и организационного оформления, а именно эти возможности в тоталитарном режиме сведены до минимума. Недавно меня поразило прочтенное мною где-то замечание, что революции удаются только в тех случаях, когда по существу они уже больше не нужны. В такой категорической форме утверждение это может быть признано спорным, но бесспорным остается исторический факт, что все большие революции Нового времени (английская, французская, русская) произошли в моменты роста, а не убыли свободы и в условиях общего культурного и социально-экономического подъема страны.

Во всяком случае, одно надо помнить твердо: *в положительном смысле* революция, как и война, сама по себе еще ничего не решает (напоминаю, что я употребляю термин «революция» для обозначения насильственного метода политических действий). Она может разбить оковы, устранить препятствия, стоящие на пути свободного народного творчества, но само это творчество, иными словами, создание положительных ценностей требует эволюционных, а не революционных методов. Вот почему революция, как *метод действий* может быть успешной только как революция политическая — как устранение устарелой или вообще негодной формы правления. Такое устранение может быть произведено насильственным способом, но нельзя насильственно разрешить ни экономические, ни социальные, ни культурно-психологические проблемы — ни даже политические проблемы в их *положительном* содержании. Поэтому такие выражения, как «социальная революция», «экономическая революция», «культурная революция» и т. п., основаны, в сущности, на недоразумении, заключающемся в смешении революции как метода действий с ее результатами, и притом не прямыми, а косвенными. Иными словами, в лучшем случае революция лишь открывает новые возможности для положительного творчества, но для реализации этих возможностей нет иного пути, кроме эволюционного. На смешении того и другого построен весь тоталитарный замысел, в котором делается попытка насилем создать новый экономический и социальный строй, новую цивилизацию и даже нового человека. Но именно поэтому он и дает результаты, с нашей точки зрения, катастрофически неудачные.

От некоторых из моих читателей я слышал и другое возражение, направленное против моей сочувственной оценки мыслей Бругана. Мне говорят, что Бруган ломится в открытую дверь, когда он, обращаясь к некоммунистическому миру, нападает на представление о революции как о «нормальном средстве и благодетельной панацее». За пределами коммунистического лагеря в мире будто бы не осталось фанатиков и энтузиастов революции, причем это отхождение от революционной романтики имеет за собой уже почтенную давность. Думаю, что в правильности таких утверждений позволительно усомниться. Много десятилетий тому назад Жорес назвал революцию «варварской формой прогресса». Слова эти часто цитировались, но боюсь, что при всем огромном авторитете Жореса в социалистических и демократических кругах его времени заключенное в них предупреждение не произвело достаточно сильного впечатления. Даже немецкая социал-демократия конца 19-го и начала 20-го века, жившая и в значительной мере

думавшая по Эдуарду Бернштейну, все-таки не сочла возможным открыто отказаться от концепции социальной революции, фактически ставшей для нее совершенно ненужной.

О живучести мифа о революции в современной Франции не так давно писал один из самых вдумчивых французских публицистов Раймон Арон\*. Именно продолжающемуся влиянию этого мифа приписывает Арон то двусмысленное отношение к коммунистической опасности, которое обнаруживают так называемые «нейтралисты» из числа французских интеллигентов. А миф о революции неразрывно связан во Франции с тоже достаточно живучей якобинской традицией. В свете того, что мы знаем о якобинцах, сочувственные ссылки на эту традицию со стороны антикоммунистов представляются политической бессмыслицей. Броган совершенно прав, когда он утверждает, что единственными законными наследниками якобинцев являются именно коммунисты. При этом, как указывает Броган, коммунистам было особенно легко воспользоваться этим наследством в силу того обстоятельства, что в течение целого столетия французских рабочих усиленно питали романтическими легендами о якобинской революции. Так и случилось, что «призраки 93 года были снова вызваны к жизни, и на этот раз их заставили маршировать под знаком серпа и молота».

Живуча была революционная романтика и у нас в России. Она сыграла немалую роль в событиях 1917 года, не исчезла она и после этого. Недавно я перечел изданную в 1934 году книгу покойного В. М. Чернова о февральской революции («Рождение революционной России»). В ней есть места, как будто продиктованные политическим реализмом; автор отрещивается от «наивного революционного пафоса былых эпох, которым революция и революционная работа представлялись окруженными сплошным неземным сиянием». Но тут же рядом мы находим своего рода гимн революции, под которым мог бы подписаться и Мишле: «Одних восторгая, других настораживая, третьих ужасая; в одних зарожая слепую ненависть, в других — такой же слепой энтузиазм, в третьих тревогу углубленной мысли — память о революционной эпохе острым клином врезается в жизнь народа, вдыхая в ее серые будни веяние Духа. Так было, так будет — это дает соприкосновение с Великим». В этих словах заключается прямое оправдание революционного мифа.

Революционный романтизм неизбежно связан с максимализмом, и по отношению к максимализму русской революции мы

---

\* См. его статью в американском еженедельнике *New Leader* от 25. II.1952.

находим у В. М. Чернова такое же двойственное отношение. Он признает его слабость в практическом отношении, говорит, что «безудержная сила отталкивания от прошлого тянет здесь к разрубанию гордиевых узлов политики и экономики даже *тогда, когда их можно было бы и просто развязать*» (курсив мой. — М. К.), но это не мешает его главе о «духе русской революции» в целом быть апологией максимализма, о силе которого он говорит с большим воодушевлением. Так, «потрясать умы и сердца может только идея, без страха идущая до самых крайних своих логических последствий». В «чистом горном воздухе» теоретического максимализма «развивается негибкая воля, которой душно и тесно в долинах». Обитателям этих горных вершин противопоставляются жители долин, которые «без головокружения не могут и представить себе крутизны отвесов между двух бездн — бездной верха и бездной низа». На этих страницах живет дух горьковского «Буревестника», и при чтении их вспоминается горьковское «рожденный ползать летать не может»!

В соответствии с этой революционно-романтической установкой В. М. Чернов сурово осуждает русских политических деятелей умеренного направления за их боязнь революции, хотя последующий исторический опыт как будто показал с достаточной убедительностью, что было чего бояться. Февральская революция, по известному признанию Ленина, сделавшая Россию самой свободной страной в мире, представляется В. М. Чернову революцией «поверхностной» и «фасадной», «революцией без подлинно-революционных последствий». Именно с этой точки зрения критикует В. М. Чернов Временное правительство за недостаточный радикализм. «Возглавить революцию, — говорит он, — может лишь такое правительство, которое идет впереди ее». Под революцией здесь, несомненно, имеется в виду стихийная народная революция, дух которой, по утверждению самого В. М. Чернова, был духом максимализма. *Идти впереди* такой революции, не уступая духу максимализма, явно невозможно. Правда, В. М. Чернов признает, что одной из главных задач ответственных участников революции является «очищение ее от так называемых революционных эксцессов», но ведь помимо эксцессов физического насилия бывают еще эксцессы мысли и чувства, выражающиеся в преувеличенных надеждах и непомерных требованиях, т. е. как раз в максимализме. Как это ни парадоксально, но на ответственных участников революции выпадает поэтому задача борьбы с *этим* духом революции. А между тем для представителей русской «революционной демократии» 1917 года была в значительной мере характерна тенденция к «углублению революции». При наличии широко раз-

литой и динамической революционной стихии, — а в наличии ее в России 1917 года едва ли кто станет сомневаться, — «углубление революции» представляется поистине ненужным и вместе с тем опасным занятием. В силу самой своей природы революционная стихия неизбежно стремится к безостановочному расширению и углублению, так что заботиться, казалось бы, приходится только о том, как бы ее сузить, пока она не перехлестнула через пределы исторически возможного и как бы не дать ей углубиться — до бездны.

## Комментарии. О Феврале

### 1

Едва ли годовщина большого исторического события может служить законным поводом для дифирамбов или для страстных обличений. Не правильнее ли видеть единственный смысл этих «юбилейных» дат в том, что они дают основание для переоценки вспоминаемого события в свете исторической перспективы и для извлечения из опыта прошлого политических уроков для настоящего?

Это звучит как трюизм, и все же это легче сказать, чем сделать. Для такого пересмотра нужна известная доля объективности, готовность подчинить свои эмоции контролю разума. А это особенно трудно, когда последствия исторического события ощущаются на протяжении долгого времени — и тем труднее, чем ближе мы к нему находимся. Не через сорок лет, а через столетие и даже позже, не только в политической жизни, но и в исторической литературе, во Франции продолжали жить партийные страсти, порожденные революцией. Среди историков, о ней писавших, были и роялисты, и бонапартисты, и сторонники жирондистов, и носители якобинской традиции, и, наконец, либералы и либеральные консерваторы, принимавшие 1789-й год, но отвергавшие 1793-й. И даже фракционная борьба внутри якобинской партии нашла свое запоздалое отражение в научной полемике дантониста Оляра и робеспьериста Матъеза! Но наряду с этой полемикой шла и подлинная научная работа по изучению революции, было собрано и подвергнуто критической разработке огромное количество документальных данных, да и в числе окрашенных той или иной тенденцией сводных работ можно насчитать немало выдающихся историко-литературных достижений.